

Каменная колыбель / рассказ

Category: Hekaýalar, Kitapcy

написано kitapcy | 24 января, 2025

Каменная колыбель / рассказ КАМЕННАЯ КОЛЫБЕЛЬ

Я не люблю родину. Признаюсь в этом только потому, что иначе не смогу рассказать о том, что испытываю на самом деле. Ведь чтобы избавиться от больного и злокачественного, надо разрешить себя разрезать и пойти на убийство внутренней священной коровы, которая, однако, может оказаться бодливой и жизнеспособной. И больна, быть может, совсем не она. Вот только пока не вскрыешь — не поймешь.

Вышло так, что я не знаю толком уральской географии. А что знала — вытеснила, даже названия улиц родного города, который так и не смогла называть его красивым изначальным именем «Екатеринбург». Слишком оно женственное и декоративное для той мощной и противоречивой стихии, которая запомнилась мне как детство. То детство, которое твердым замороженным куском достаю из колодца памяти, и оно понемногу оттаивает, стекая кровавыми струйками...

Я жила в углу, образованном значным рестораном «Малахит» и первым здешним фонтаном с цветомузыкой. А дом наш в просторечье назывался Граммофон — внизу был знаменитый магазин «Мелодия», у входа в который по выходным вырастал богатый спекулянтский развал с дефицитными «пластами» западного рока. Я была пропитана разнородными музыкальными энергиями: «Малахит» вносил вклад в историю русской эстрады и шансона — здесь играл в ресторанном оркестре широко известный впоследствии, а до этого опальный гитарист и автор-исполнитель Александр Новиков. Сюда же приезжал выступать легендарный чеченский танцор Махмуд Эсамбаев, а также цыгане. Они долго пестрели концертными одеяниями с люрексом во внутреннем ресторанном дворике, и я за ними наблюдала с балкона в летние сумерки. На верхних этажах «Малахита» располагалось кулинарное училище, и весной из открытых окон доносились репетиции местной рок-группы. А вечером со стороны фонтана лилась

легитимная попса типа «Лаванда, горная лаванда».

Но все это были лишь приятные бонус-треки, к которым стремилась любопытная душа, или то содержание, которое выплескивалось из строго геометрических форм всего сущего вокруг. Свердловск был городом неумолимо прямых углов. Даже здешние трущобы создавали замысловатый постконструктивистский ансамбль, как, например, знаменитый городок чекистов, располагающийся по соседству. В подобных трущобах в самом центре города водилась живописная пьянь, сумасшедшие старухи и внезапные эксгибиционисты, которые, возможно, и были потомками тех самых чекистов... Это — самый центр. В детстве мне до всего можно было дойти пешком. Университет — через дорогу. Но я еще ребенком с яростью отвергала эту, казалось, по рождению прописанную мне простую геометрию. Не может быть, чтобы человек, совершивший что-нибудь мало-мальски значительное, смирился бы с обитанием в этом примитивном, расчерченном на клеточки архитектурном аквариуме из сталинско-брежневских кубиков! И я чуть ли не с рождения обязала себя уехать отсюда в свою настоящую жизнь, в волны и шторма сюжетов, в переделки и передраги, в паутины проходных дворов — и каким же восторгом захлебнулась я от неевклидовой тайнописи закоулков другого города! Который я тоже никогда не называю его правильным именем «Санкт-Петербург».

Но первые сладкие опыты побегов у меня, конечно, были с младенчества. К бабушке в заповедный городок Сысерть у Бессоновой горы. Сразу перейду к кладбищу, таинственной библиотеке судеб, где под ноги тебе могла упасть с сосны белка и тут же вновь взмыть вверх по стволу. С бабушкой Зоей везде было хорошо и нестрашно. Она и только она была для меня хранительницей книги жизней. Она все знала, и это знание было спокойным, ровным и уютным, как ее ямочки на щеках. Она так и осталась для меня эталоном человека, и даже немножко сверхчеловека, потому что познакомила меня со смертью. Что ж, более всего на кладбище меня завораживала старинная могила двух близнецов, умерших еще в конце девятнадцатого века. Надгробие было сделано в виде колыбельки, которую, казалось, можно было даже покачать — и это неизменно рождало во мне

древний ужас, словно я уже видела внутренним взором две крохотные детские мумии.

– Почему они умерли? Почему сразу двое?! А у их родителей были еще дети? – сыпались из меня панические вопросы.

Бабушка отвечала так, словно она читала метрические книги в местном приходе, только вот запомняла насчет деталей. Дескать, конечно, дети еще были. И семья небедная, если такую могилку смогли осилить. И все у них потом наладилось. Бывало, конечно, если заболел один ребенок, а потом и другой... но времена были давние, и к этому относились иначе. Дети умирали чаще, но и рождались больше.

Во мне тут же происходила смена декораций фаустовского размаха: накал бедствия отдельно взятой семьи из девятнадцатого столетия снимался, и его место тут же занимал не менее животрепещущий вопрос: значит, я тоже могу умереть? Я точно знала, что могу, потому что в нашей семейной оградке тоже лежала маленькая девочка. И умерла она не много-много, а всего лишь несколько лет назад. Моя двоюродная сестра. О ней мы с бабушкой почти никогда не говорили. Я и так знала, что у моей тети есть еще дети. И негласным правилом, усвоенным без объяснений, было помалкивать, чтобы не сделать этой семье больно. Но неисповедимыми, едва уловимыми жестами и нитями повседневность все равно приводила меня к умершей Танечке – и столь же непостижимыми и прозрачными сетями бабушка ловила меня при падении в ту самую Цветаевскую бездну: ведь в детстве думать о смерти и умирать – почти одно и то же. Смерть Танечки была одновременно и трагедией, и почему-то тайной гарантией того, что я останусь жива. Во всяком случае – ребенком.

И все-таки я отваживалась на то, чтобы толкнуть каменную колыбель, усыпанную засохшей рыжей сосновой хвоей. Колыбель не поддавалась.

В этом бревенчато-огородном раю под Бессоновой горой и была живая сказочная мягкая сердцевина, начинка моей каменной неудобной родины. Роскошный чердачный хлам, велики и мопеды, заросли и закоулки, погреба и чуланы, крыши и деревья, а за деревьями, конечно, лес, пруд, гора, которую в просторечье называли Бесёновкой. И главное сокровище – бабушкин эпос.

Она, всегда пребывая в работе, без конца что-то мне рассказывала. Я переспрашивала – она делала мхатовское лицо с природно тонкими бровями, воспаряющими ввысь, и со сценическим пафосом выдыхала: «Да!», словно немного задыхаясь и обнажая металлические коронки, которые я считала серебряными. Или «Нет» – с нисходящей категоричностью. Бабушка-рассказчица замечательно владела сценическими приемами.

– Ты начала курить в четырнадцать лет из-за этого поляка, в которого влюбилась?

– Да!

– Тетя Зина убила своего мужа?

– Нет!

– Ты хотела бы жить в Америке?

Но все порядку – вопросы не праздные. Ее первая любовь – одноклассник-поляк. Услышав эту историю, я суицидально разрыдалась, потому что мне уже было целых пятнадцать, а любви-то еще не было! Но бабушка опять включила мейерхольдовскую магию, и фатум безбрачия улетучился, как дым сигарет «БАМ». Она опять откуда-то твердо знала, что любовь будет, и даже не одна. А тот мальчик-поляк – ну да, научил ее курить, а сам потом бросил, а она не смогла. Но запаха дыма никогда не оставляла – в ее доме с русской печкой идеальная вентиляция.

Что до тети Зины, то это одиозная соседка – обидчивая, вредная и одинокая. С ней никто, кроме бабушки, не дружил. По малолетке она отсидела семь лет в тюрьме. Бабушка говорила, что Зина, работавшая почтальоном, просто что-то украла на почте, но мы, дети, подозревали, что она совершила куда более тяжкое деяние. Когда-то у нее был муж. Грузин. Но он от нее ушел. Лично я этого грузина неприязненно жалела. Может, он был и коварный тип, но и от Зины, которая никогда не улыбалась и прекрасно владела топором и вилами, наверняка было не так-то просто уйти. Бабушка Зину жалела и говорила, что она тянется к знаниям. Так и было: Зина брала у нас почитать книги. Подумать только, ей нравился Сологуб! «Так и до Андрея Белого докатится, а там, глядишь, и весь Серебряный век начнет осваивать», – думала я уже подростком. Но однажды тетя Зина со

всем своим отягощенным анамнезом и тягой к художественному слову завела роман с крайне зловредным типом. Любовник стал ходить к зазнобе огородами, чтобы жена не увидела. Однажды он решил пройти и через наш участок, но его, уже почти преодолевшего забор и вылезшего в проулок, настигла наша овчарка Лада. Она порвала ему штаны и прокусила филейную часть. На нас ополчились: Зина – за сорванное свидание, ее зловредный друг – за публичное унижение, но более всего злилась, как ни странно, обманутая жена, видимо, за порчу имущества. Лада была единственной крупной служебной собакой в округе, которая к тому же не сидела на цепи. Поэтому она была не злой, а чувствительной к помыслам и деяниям человеческим. В деревне с собаками-обидчиками могли расправиться просто – отравили бы и дело с концом. Но Лада была самой популярной собакой на нашей улице, а пассия тети Зины – совсем наоборот. Он не стал рисковать. А я неловко утешала бабушку, дескать, возможно, и к лучшему, что ранее судимая соседка больше к нам не ходит – вдруг она все-таки зарубила мужа топором, как жена знаменитого цыганского певца Сличенко, о котором ходили и такие слухи...

Зина, конечно, к нам вернулась, но главный вопрос – про Америку. На него бабушка мне так и не ответила. Дело в том, что она была дочерью шадринского священника Ивана Павловича Суставова. После революции он со своей семьей и родственными семействами поехал через Сибирь в эмиграцию. Но Суставовы по дороге осели в Новосибирске – заболели тифом. Прадедушке тогда советовали бросить младенца Зою, родившуюся осенью восемнадцатого года, в реку. Три сына у него уже было, зачем, же, мол, еще обузу на себя вешать... Бабушка своего отца обожала и меня этим обожанием заразила: ведь с фотографий на меня смотрел совсем не помпезный поп в рясе, а добрейший человек в штатском, в круглых очках и с жестким ежиком волос. Пока набирались сил после болезни, Иван Палыч устроился писарем в Энске, а родня поехала дальше, и расселилась по миру – кто в Китае, кто в Сан-Франциско. К прадеду же однажды приехали ходоки из его шадринского прихода. «Отец Иван, церковь стоит пустая без вас, возвращайтесь!». И он вернулся. А по

прошествии нескольких лет на него настучали... не кто-нибудь, свои же попы-обновленцы. И Ивана Павловича отправили в ссылку на Соловки.

Бабушка так об этом рассказывала, что я долгое время считала ссылку частью работы священника. Как командировку для ученого или инженера, только лет на десять – пятнадцать. Бабушка никогда никого ни в чем не обвиняла и не пыталась обратить в свою веру. Это ведь мой выбор – то, что я тоже возвращаюсь, когда меня просят. Из теплой уютной сказочной сердцевины двигаюсь к острым и холодным бортикам неподатливой каменной колыбели. То ли родовая карма, то ли непостижимый божественный смысл. И дело не в том, люблю я или не люблю родину. А в том, любит ли она меня. Я ведь сверяю верность своего пути по ней, по этому вечному... не попаданию в Сан-Франциско. По острым каменным краям, разбивающим меня вдребезги, и по исцеляющей теплой сказочной сердцевине, источник которой – бабушка, хранящая меня и поныне, но уже из других пределов. Отец Иван не зря назвал ее Зоей. Ведь Зоя по-гречески значит Жизнь.

Об авторе: ДАРЬЯ СИМОНОВА

Родилась в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончила Уральский университет. Живет в Москве. Автор художественных книг «Половецкие пляски» (М., Вагриус. 2002), «Узкие врата», «Свингующие» (М., Центрполиграф, 2007, 2008), «Пятнадцатый камень» (М., 2011, совместно с Е. Стринадкиной), «Тени Феликса» (YAM-publishing, 2013), а также детективного романа «Черный телефон», вышедшего в журнале «Детективы СМ» в 2015 г. Публикуется в журналах «Урал», «Знамя», «Новый мир», Psychologies, «Новый берег», «Зинзивер», «Менестрель», Номо legens etc., а также в сборниках современной прозы, в том числе в антологии на французском языке La prose russe contemporaine (Fayard, Paris, 2005) и в сборнике на арабском языке «Простая история любви», вышедшем в Иордании и Египте в 2017 г. Лауреат премии журнала «Зинзивер» 2009 г. Также

является автором и редактором документально-художественных изданий, основанных на семейных и родовых историях. Neкаýalar